**КОРАБЛЬ ТЕСЕЯ**

*Черно-белый роман*

*Фрагменты*

**Пролог. Промежуток перехода**

**1**

Все что мне осталось – это смотреть на людей в метро. Каждый день я спускаюсь в переход между двумя станциями, чтобы смотреть на них, вдохновляться и писать их имена на тонкой рисовой бумаге. Я сажусь в длинном тусклом переходе и вывожу буквы. Отныне я буду сидеть здесь и писать каждый день подобно тому, как художники пишут свои полотна на пленэре. Только я пишу не картины, а имена – на китайском, арабском, японском, хинди, древнеегипетском. Кто на каком пожелает…

Пусть здесь душно и неудобно, я буду писать, я буду стараться сосредоточиться, стараться выводить маленькие или размашистые буквы на салфетках, как я называю прозрачную рисовую бумагу.

Каждая салфетка, если ее развернуть, размером с плитку керамогранита, которой обложены стены перехода. Они напоминают надгробные плиты с эпитафиями, каждой мелькнувшей в моей жизни душе.

Как там надгробный стих на могиле Китса: «Здесь лежит тот, чье имя начертано на воде». Написание иероглифов дождевой водой на асфальте или краской на водной глади – та еще медитация. Вода впитывает в себя все, в том числе время и имена. Йейтс, Элиот, Фрост. Впрочем, мне гораздо больше нравится эпитафия, что начертана на могиле Уайльда: «Все мы сидим в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды». Или на могиле Коперника: «Остановивший Солнце – двинувший Землю».

Солнце – звезда, что рисует лучами иероглифы в небе и на земле. Но в моей жизни была звезда и поближе: это ты, Мелисса. И потому я буду чертить твое имя, буду писать его на салфетках, которых набрал в уличных кафе, или в клетках тетрадок, которых купил на распродаже после того, как отзвенел первый звонок, да и второй, и третий звонки уже отзвенели.

И тогда, словно ты зритель в зале, уже неприлично метаться и стонать. А можно только принять правила игры, вжаться, будто это кресло взлетающего лайнера, в сиденье и покорно склонить свою голову и гордость перед представлением, которое проходит без тебя и, в общем-то, если быть до конца честным, не для тебя.

«Наконец счастлив» –вот идеальная эпитафия! – воскликнул как-то в ответ на мои рассуждения Алистер. – И заметь, написана она на могиле физика и математика, что лишний раз подтверждает, что ученые точнее, лаконичнее, логичнее и как следствие умнее вас, гуманоидов.

Сам Алистер – физик и математик. И это он привел меня на кладбище и пристрастил бродить меж могил и читать эпитафии. Он же научил меня каллиграфии и рассказал мне о памятнике, который хотел бы видеть на своей могиле. А еще он приучил меня лежать на чужих могилах и смотреть на звезды глазами мертвых.

**2**

«Представление» – вы заметили? – я сказал «представление». Будто я хочу снять с себя всякую ответственность, уклониться от действия и остаться лишь наблюдателем. Будто я хочу жить так чтобы целыми днями только и делать, что посещать театр или даже театры и созерцать. Будто я хочу жить и после смерти. Будто я хочу жить и после третьего звонка и все так же обладать пятью чувствами. Видеть, слышать, обонять, осязать, чувствовать вкус.

Я вытягиваю руку и касаюсь пятью пальцами чуть шершавой поверхности плитки, на которой было начертано твое имя, стертое со временем ветром, смытое от людских глаз водой. Про эту надпись знаем только я и духи.

Чтобы в подземке у меня была связь с духами, я почтительно снимаю шапку и кладу ее возле себя – на пол. Так я прошу о покровительстве, попутно прикидываясь попрошайкой. Иногда прохожие кидают деньги. Они думают, что я слабоумный, перебирающий пустые бумажки, что я здесь ради денег. Некоторые еще считают меня местной достопримечательностью, городским сумасшедшим, бормочущим под нос непонятные слова и странные заклинания. Но на самом деле я не слабоумный. Я кидаю шапку как отмазку от «фараонов». Чтобы залетные менты-фараоны-бандиты не думали, что я тут развил особо прибыльный иероглифический бизнес, и не отвели меня за шкирку в налоговую или в свой участок.

Да, на этот случай рядом со мной лежит моя гитара, и время от времени, если милиция рядом и есть опасность, я делаю вид, что я уличный музыкант-трубадур, который уже собирается покинуть переход.
А с уличных музыкантов, с этих юродивых бедолаг – поэтов и бродяг – какой может быть спрос? Нам бы, художникам, себя прокормить! Если шапка лежит, значит, я ничем не торгую. Наоборот, подают и продают мне. Иногда подходят торговцы и предлагают свой товар – ручки с тройным стержнем и супер-пуперчернилами и карандаши с оборотками, со стирающими ластиками на другом конце. «Старатели со стирателями» – так их здесь называют в шутку. Этими стирателями от старателей я уничтожаю неудавшиеся иероглифы.

**3**

Удавшиеся иероглифы я отдаю людям за сумму, которую им не жалко за свой заказ. Иностранные туристы или загулявшие бизнесмены жертвуют крупные купюры. Наркоманы или студентки – яблоко или печенье. Бродяги предлагают налить .

Десять процентов – вот мой доход и прибыль. Будто я какая ходячая церковь, живущая на подаяния. Впрочем, так оно и есть – я живу на подаяния. Я подсчитал, что за день писанины мне накидывают в шапку в среднем тысячи три-четыре рублей. Треть забирает милиция на горячий чай с пирожками в соседнем киоске. Половину оставшегося присваивает «Крыша подземки». Их у меня собирает за «арендованное место» безрукий-безногий Радий на инвалидной коляске.

Арендованное у кого? Воздуха? Пустоты? Улицы? Космоса? Звучит-то как: «Крыша подземки»! Пожалуй, так стоило бы назвать поэму, напиши я ее однажды. Но это вряд ли. В день я пишу не больше одной песни-стиха и с сотни три имен. Выходит, каждая моя строка стоит около десяти рублей. Меня это и печалит, и радует.

Печалит то, что мой труд так мало оплачиваем; радует, что я еще вообще хоть что-то стою. Когда я радуюсь, я выдавливаю из себя строку, словно пасту с мелиссой из тюбика на щетку.

Помимо гитары я ношу с собой ящичек с красками и кистями, с щеткой и гуталином. Я еще ни разу никому не начищал обувь, но однажды мне, возможно, и это предстоит, если только мои иероглифы вдруг перестанут пользоваться спросом и ничего не останется как замазать белую поверхность гуталином.

Ящик и гитара – мои щит и меч, мои котомка и посох. Для арлекина и трубадура вроде меня – это незаменимые неземные вещи. Ящик мне служит еще стулом или столом, когда я исполняю песни или пишу имена. Я сажусь на него и, как чистильщик обуви, втираю чернила в гладкую поверхность, натираю, шлифую, стараясь белую пустую поверхность превратить в замаранную. В поверхность хоть с каким-то смыслом и именем.

Когда никто ко мне не обращается, я для тренировки и медитации пишу твое имя. Потому что я сижу здесь не ради себя, а ради тебя, Мелисса.

Я знаю: однажды наступит такой день, и ты пройдешь мимо меня по переходу. Просто не может не пройти по теории вероятности. Ведь когда-нибудь ты приедешь в центр – погулять с новым возлюбленным или со старыми подругами. Наверняка тебя будет тянуть в место, где мы провели столько месяцев.

**4**

В длительном периоде все побочные эффекты – внешность и статус –
разрушатся. Потому что переход – промежуточное положение между одним состоянием и другим. И здесь, как нигде, понимаешь, что все мимолетно, все преходяще. В итоге будет жить только текст. Главное, оставаться идеалистом и верить. Вся наша жизнь – только переход из одного состояния в другое. Промежуток между первым, вторым и третьим…

Как сказал Гадамер, автор – случайный элемент, который рано или поздно отпадет. Рассыплется в прах. И потому не стоит в первую очередь думать о животе своем.

Хотя, почему бы и не подумать. Когда я хочу есть, я хожу в столовую номер один. Собранных денег хватает, чтобы заказать простые первое, второе, третье...

Живу я в маленькой отдельной каморке в центре города, с маленькой кухонькой, отделенной от комнаты картонкой и буфетом. В дворницкой, которую мне позволили арендовать у города, когда я только приехал сюда и устроился работать в услужение Великому Питеру – в ЖЭК или ТСЖ. Меня даже прописали сюда, а теперь не могут выписать и выкинуть по закону, потому что другого жилья у меня нет. На самом деле надо мной сжалилась начальница ЖЭКа – сердобольная женщина. Это она, а не Питер, прониклась ко мне симпатией и за энную сумму уступила каморку «папы Карло», как я ее называю.

Можно сказать, мне повезло, потому что плачу за коммуналку совсем недорого. У меня есть один знакомый, который такие же деньги платит посуточно за койко-место в хостеле. Причем в том же самом доме и даже в том же самом подъезде…

Работает знакомый аниматором. А проще говоря, в костюме зебры, или льва, или петуха раздает флаеры на Невском. Точнее, рекламные буклеты закусочной КФСи, фирменного магазина «Зенит» или пригласительные в салон «Розовая пони». В народе за эти наряды его прозвали Сфинксом. И платят ему за них что-то около тысячи в день. Из них рублей 600–700 он отдает за койку-место в хостеле. Если платить» заранее за весь месяц сразу», то «можно сговориться и на пятьсот».
А в не сезон на все «четыреста». Хотя я так и не понял, когда в Питере наступает «не сезон», если здесь круглый год дожди, слякоть, туманы и полно туристов.

Иногда Максу-Сфинксу удается подработать на детском празднике. Ему даже переодеваться не нужно. Он бросает флаеры в урну и в том же костюме, что выдают ему каждое утро, идет в какое-нибудь кафе в центре на «день рождения – праздник детства». Или едет на окраину в садик или двор – на утренник-песенник изображать «бременского музыканта».

– Дети – самые прекрасные зрители, – утверждает Макс, – ты бы видел их глаза. Они реально верят, что я кентавр, когда я появляюсь в костюме лошади без головы.

– А в костюме петуха и с головой барана? – подначиваю я Сфинкса, потому что знаю, как ему не по душе его кличка.

– Не, такого не бывает, – отнекивается он. – Потому что в фирме мне выдают только один костюм на день.

После рассказа Сфинкса я думаю о детях, теряющих чистоту и непосредственность восприятия. И веру в чудо. Давно ли прозвенел их первый звонок? А последний звонок? А третий перед началом спектакля, когда поднимается занавес? А тот звонок, после которого все маски сброшены? Давно ли нарядные детишки – мальчики в первых своих костюмах и белых рубашках и девочки с косичками-хвостиками
и большими бантами – пошли в лакированных туфельках в школу, познакомились, встали на линейку, заняли парты, выучились, выпустились, занавес опустился, свет погас, оркестранты ударили по струнам, и вот он я – в переходе метро. Пишу их взрослые имена…

– Я для себя решил однажды, что глупо уходить со второго акта. Пьесу нужно досмотреть до конца, – ответил как-то безрукий-безногий попрошайка Радий на мое замечание, что лучше таким паразитам, как мы, и вовсе не жить на белом свете.

– Даже если спектакль окажется дрянь?

– Если дрянь, тем более, – махнул он рукой на приклеенные к стене бумажку с телефонами. – Вокруг столько интересного.

«Группа грузчиков поможет с мебелью. Интим не предлагать».

– И чем тебя привлекло это объявление? – поддел я Радия в обычной манере. – Хочешь подзаработать на допуслугах?

– Угадал, а еще чтоб у меня были руки и ноги и я мог нести тяжесть на своих плечах!

– Мне хоть не ври! Тебе удобно наблюдать за пьесой из твоего «кресла-качалки», – указал я смотрящему за переходом на его инвалидную коляску, – неплохо устроился.

– А тебе-то че трудного? – ухмыльнулся Радий. – Тоже мне, возомнил себя поэтом-грузчиком, встал в позу, как шкаф.

Радий был прав. Еще со школы, с первых заученных стихов, я на-
учился вставать в позу: Бодлер, Верлен, Рембо… Проклятые поэты, неистовые романтики. Да, иногда я думаю, что я какой-нибудь «отверженный». Я сравниваю себя с бедолагой Рембо, с этим уличным певцом, вкусившим страданий и боли поболее моих, и мне от этого сравнения становится легче. У отверженных, изгнанных, обреченных, проклятых своя гордость. Отчуждение творчества от жизни. Экзистенциальная трагедия. Декаданс.

**5**

В столовой я продолжаю наблюдать за людьми: за веселыми, вечно смеющимися подростками, за школьниками и студентами, за стариками, с трудом сгибающими колени, за озабоченными жизнью и сумками мамашами, за влюбленными, устроившими в Питер свой любовный тур. Как бы мне хотелось написать их портреты. Но я не художник, я могу написать лишь имена, которые, впрочем, тоже пользуются спросом.

Иногда я задаю себе вопрос: почему люди так хотят, чтобы их имена были написаны еще на каком-нибудь, непонятным им языке доморощенным каллиграфом, вроде меня?

Они все равно не знают букв и иероглифов, не умеют читать. Но они готовы платить деньги, чтобы получить свое имя на абракадабрском.
Я думаю, это как с фотокарточками. Хочется запечатлеться еще в одном измерении. Еще в одной стране. Смотрите: я был в Барселоне или Палермо. Я тоже здесь был. Смотрите: за моей спиной Миланский собор. А вот и Тадж Махал. Какой смысл фотографироваться на фоне городов, которые тебе не по карману и в которых ты проездом? Или на фоне картин, которые написал не ты?

Наверное, в нас так проявляется жажда бытия или ген грамматики. Иначе откуда у людей такое уважение к написанному? А еще наше желание казаться, а не быть. Казаться чем-то большим, чем есть на самом деле. Пусть не большим, хотя бы загадочным.

Да и мы со Сфинксом по сути такие же. показушники В столовой номер 1, мы заказываем почти одно и то же, чтобы не вылезти за рамки бюджета в двести рублей. Но стоит рядом показаться симпатичной мордашке, как ослиный хвост пистолетом.

Я смотрю, как Сфинкс раскрывает пасть осла и закидывает в него большой бургер.

– Какие же мы с тобой все-таки ничтожества, – говорю я ему.

– Чего это? – перемалывает он челюстями бургер. Кажется, его ослиные зубы работают как жернова. Аппетит у него отменный.

– Да вот, просто пришло в голову, что мы ничтожества и что больше всего мы думаем о еде. Причем о такой паршивой еде, которую приличные люди не то что есть, даже думать о ней не могут. Иначе их тут же вырвет.

– Все люди думают о еде в той или иной мере. И бедные, и богатые. Потому что человек всего лишь биологическая машина, которой нужно топливо. Более совершенная, чем робот, машина. Но все же робот.
И его можно запрограммировать как угодно, внушить что угодно.

Я молчу, думая, что мы действительно биологическая машина. И про то, что однажды, когда мы износимся, у нас для сохранения энергии отключатся сначала воспроизводительная функция, а потом и двигательная.

– Знаешь что? – Сфинкс наклоняется ко мне почти вплотную. – Я вот хожу по Питеру в обличье осла и иногда думаю, что я и есть осел. Даже повадки ослиные стал перенимать – смех там и все такое.

– А как же Кентавр? – вопрошаю я. – Мы же решили, что ты Кентавр.

Однажды я подсунул Сфинксу «Кентавр» Апдайка. Книга, которую я купил в букинисте «Искатель». Знаковое для меня место и слово.
Я уже тогда ходил и чего-то искал. А рядом с «Искателем» кафе «Вольф и Беранже», в которое заехал Пушкин, прежде чем отправиться на дуэль. Пожрал, перекусил, а потом бац: пуля пробивает мочевой пузырь, моча попадает в кровь. Перитонит, заражение крови и адские боли. А если бы он не выпил тогда воды, был бы выше всего мирского…

– Да, решили, что Кентавр, – соглашается Сфинкс. – Только, кроме нас, меня так никто не воспринимает. Не хотят слушать, что я говорю. А Кентавр все же был учителем. Учителем! А я осел, и точка.

– Вот потому, что нас никто не слушает и не воспринимает всерьез, я и ощущаю себя ничтожеством.

**6**

Она говорила мне: ты ничтожество, ты не потянешь отношения со мной и не вытянешь семью. Ты бестолковый и растрачиваешь свою жизнь зря. У тебя не хватит усидчивости, не хватит работоспособности. Ты потакаешь своим слабостям.

И потому я каждое утро встаю и спускаюсь в метро и работаю как одержимый. Я вывожу один и тот же иероглиф или один харф множество раз. Нахожу его в телефоне и перерисовываю, доводя до совершенства.

Так я тренируюсь. Неистовство охватывает меня. Я выбиваюсь из сил. Но я дал обет. Обет трудолюбия и усердия. И потому я пишу из последних сил на этих тонких бумажках.

Потом я пытаюсь сложить из букв твоё имя, Мелисса. Если салфетки заканчиваются, я вывожу имя «Мелисса» на обрывках бесплатных газет, на рекламках, которые раздаются в переходах, на длинных чеках, которые нахожу у мусорки.

С обратной стороны чеки чистые. Рыба семга – 800 грамм. Рис Жасмин – 75 рублей. Крабовые палочки, лапы каракатицы… И корявая роспись покупателя. Будто это они, каракатицы, писали здесь каракули, выплескивая свои черные чернила.

Половину из написанных мною имен и текстов я потом сам же не могу разобрать, еще часть теряю или раздаю как милостыню торговкам семечек под кульки. Но я совершенствуюсь. Совершенствую свое мастерство каллиграфа.

Главное, каждый день работать. Алистер уверял, что если написать имя в совершенстве, то носитель этого имени обязательно предстанет перед тобой. Предстанет, даже если ему придется для этого восстать из мертвых.

В другой умной книжке было написано про правило 10 тысячи часов. Мол, чтобы стать профессионалом, нужно потратить такое количеств времени. Нехитрым способом я посчитал, что это 10 лет работы по 10 часов в день. Но мне нужно быстрее.

Поэтому теперь я заставляю себя каждое утро вставать. Теперь я встаю, как другие, рано поутру и иду в метро. Я хочу быть вместе с другими людьми, я хочу быть такими же, потому что уже люблю их. Не так, как тебя, Мелисса, но все же люблю.

Пусть меня пока не берут на другую работу – кому нужен шалопай-бездельник, не добившийся в жизни толком ничего и нигде? – я все равно буду стараться. Буду «пахать за себя и за того парня».

**Бар «Трибунал»**

**1**

Оказавшись в маленькой каморке приват-комнаты, я сую в трусы девицам купюры, хотя мог бы плеснуть на их красивые тела кислоту. Так сделал какой-то сумасшедший с картиной Рембрандта. Здесь не кислота. Здесь текила. Соль и лайм.

Там, в ночном клубе «Трибунал», я впервые и увидел ее – Мелиссу. Да, я увидел тебя. В белом подвенечном платье ты спустилась по крутой винтовой лестнице, поддерживая рукой фату, словно подбитый летчик на одном крыле. Спустилась в самое пекло ночного клуба по прикрепленной, казалось, к небесам винтовой лестнице и сразу напомнила мне ангела-пилота, спустившегося к пилону – стриптизерскому шесту. А потом то ли обувь была тесна, то ли воротник душил… меня охватило сильное волнение.

И я подумал: вот она, апогея разврата. Сейчас она, девушка моей мечты, изобразит самый соблазнительный стриптиз. И уже начал шарить по карманам в поисках мятых купюр, чтобы быть первым у этого отполированного олицетворения невинности.

И словно чувствуя мою готовность отдать последнее, невеста направилась прямиком к моему столику. И я вблизи увидел заплаканное, с подтеками туши, нежное лицо, – видимо, ее обидел клиент, с которым она провела час в приват-комнате, а может, хозяин заведения – он же ее сутенер.

– Садись сюда, – сделал я призывный жест ладонью, хлопая по кожаному диванчик и сам не веря, неужели этот ангел сейчас заговорит со мной.

Она села и тут же будто перестала обращать на меня внимание.
Я предложил ей выпить, она отказалась. Я спросил, как ее зовут, она ответила, что это неважно.

– А что важно? – спросил я, перекрикивая гвалт и шум.

– Сложно сказать, но верю, что в нас есть что-то более своё, чем собственное имя.

– Ну, это вряд ли, – я чувствовал, что запинаюсь, – …имя – единственное, что у нас есть своего, не наносного…

– Стоит человека пару недель называть по-другому, и все привыкнут и забудут имя, данное ему родителями, – парировала она, – он и сам скоро привыкнет к прозвищу.

 – Но не забудет… ибо, когда его окликали в раннем детстве, он еще не различал предметы и не делил мир на внешнее и свое… Да и внешнее скорее походило на пятна без какого-либо смыла и обозначений.

– Тогда Ми… – протянула она руку как бы здороваясь и представляясь. Хотя сквозь шум внутри и снаружи перепонок я толком не расслышал, но отчетливо уловил, что оно начиналось на М, как метро. Зафиксировал себе в сознание эту букву, возвышающуюся на неоновой ножке-столбе над входом в подземелье, в яме, в которой мы все оказались…

А еще я подумал, что имя у нее какое-то полусказочное. Как Анжелика или Вероника. Из тех, что любят брать проститутки, скрывая свои простые Аня и Маша.

– Почему так? – спросила М, глядя мимо меня, у кого-то, кто словно бы сидел за моей спиной. – Почему человек бывает настолько унижен, что бежит даже от своего имени? Меняет свое имя на другое…

2

Думаю, в этот момент, там за моим плечом, видела своих родителей. Я даже на миг обернулся, чтобы понять, как они выглядят.

Так бывает, когда тебе ни с того ни с сего улыбнется вдруг в трамвае самая симпатичная девушка, а ты оборачиваешься, не веря в себя и ища того, кому могла так улыбнуться удача. Вопрос адресовался мне, но я был настолько пьян, что не смог сообразить до конца, сбежавшая ли она со своей свадьбы невеста или стриптизерша, отработавшая сеанс приват-танца в закрытой кабинке .

– Что ты здесь делаешь? – спросила она резко, не дождавшись ответа, хотя это был мой вопрос.

– Отдыхаю, – вздохнул я так тяжело будто нес тяжелый камень в гору, отчего от моего признания повеяло абсурдом, – отдыхаю вопреки всему.

– Я понимаю, – улыбнулась М, приняв меня, должно быть за какого-нибудь богача, – если все время отдыхать, то и отдых становится в тягость.

Я снова глубоко вздохнул. Вздохнул, потому что мне вроде и было что сказать ей, а вроде и не было. Я чувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. Тварью, оказавшейся в цугцванге. Несостоявшаяся любовь, несостоявшаяся мать, невеста-жена-женщина, – и несостоявшийся мужчина. Оба полностью разочарованы и подавлены. Выброшенные на обочину, изгнанные из социума с единственным багажом –
всеобщим презрением, сидят в самом центре нижнего круга ада.

– Это место мне кажется преисподней, – продолжил я подброшенную кем-то тему, – потому что там, на втором этаже, кафе с большими витражами напоминает мне рай.

– Я была на втором этаже, – скривилась в язвительной ухмылке М, –
там сейчас свадьба.

– Случаем не ваша?

– Кто знает, может быть – может быть…

– Вас, что, спрятали тут от жениха за выкуп? – настаивал я.

– Скорее от женихов я спряталась сама, – она улыбнулась в первый раз за вечер.

– Как Пенелопа?

– Как Пенелопа.

Иногда так бывает, особенно в джазе, где темы подбрасывают, как детей под двери. Или под плуг на борозду. И ты сидишь и слушаешь жалобный плач саксофона. И слышишь в нем рождение новой жизни, новых чувств и эмоций.

Но за саксофоном вступает контрабас – бум-бум-бум, – будто топот бычьих ног. Или такой звук, будто о дверь головой бьется обманутый жених. А потом уже и пианино, как убегающие женские шажки, – первая любовь, первый страх, первый побег...

**3**

С другой стороны, я слышал о таких случаях. Я иногда читал книги, и как-то мне в руки попался сборник рассказов Мэнсфилд. А я люблю именно рассказы, чтобы не заморачиваться, не уходить с головой в роман, как в плавание. И вот передо мной книжка с короткой аннотацией и краткой биографией автора. Там-то я и вычитал, как Мэнсфилд убежала от своего мужа после первой брачной ночи. Или даже с самой брачной ночи – к оркестровому музыканту.

Я жутко завидовал парню, с котором сбежала Мэнсфилд. Это же как надо было запасть на простого музыканта из оркестра, что играл на свадьбах?

– Ерунда, – как-то заметит мне на это Алистер. – Я знавал одного поэта, который выбросился из окна в день собственной свадьбы. Потому что счастливей момента в жизни у него уже не будет.

– Круто, – восхитился я, хотя история с музыкантом из оркестровой ямы мне нравилась больше. Я ведь тоже в какой-то степени музыкант.

Вот я стою перед девушкой, которую принимаю за чужую невесту. Но с той же долей вероятности она может быть и стриптизершей-куртизанкой, чтобы не сказать проституткой, вышедшей из приват-кабинки, где ее только что лапал, а может, и имел ужасно толстый некрасивый торгаш, а может, и какой-нибудь плешивый, пропахший нафталином старикан-банкир.

Все эти кабинки, в которые уединялись клиенты с понравившимися танцовщицами, напоминали мне встроенные в стену камины, жаровни ада. Я специально придумывал себе как можно более жаркие картинки.

– Зачем ты выбрала такой путь? – спросил я, обращаясь ко второй возможной ипостаси девушки.

– От отчаяния, – ответила она, – у меня никчемная сестра и больная мать на руках, которых надо кормить, а самой еще снимать квартиру.

И опять было непонятно, говорит ли она про замужество или про работу. Но я сам виноват, что задал такой размытый вопрос. А спросить в лоб показалось неделикатным.

– А еще я учусь в аспирантуре и пишу диссертацию, – продолжила девушка все так же меланхолично.

Еще раньше я заметил небольшие морщинки под отчаянно нежными глазами. А значит, она старше двадцати. Может быть, двадцать один или двадцать два.

– Да, и работаю, – перехватила она, мои дальнейшие расспросы, – потому что стипендия у нас маленькая.

**4**

И опять было непонятно, вышла она замуж или работала стриптизершей. А может, спросить ее в лоб про проституцию? Я уже было собрался с духом, но тут мне на память пришло, как мы с ребятами, когда были еще подростками и кровь в нас кипела, поехали на старой «девятке» искать проституток. Мы катили вдоль улицы, на которой, так нам сказали старшие, теоретически должны были стоять девицы легкого поведения. Но никто там не стоял, а только порой шли себе вроде как по делам или гуляли вдоль тротуара одинокие барышни. Возможно, они возвращались из института или шли к своим бабушкам, несли пирожки. А может, все же фланировали в ожидании клиентов, как фланирует вон та красная шапочка по клубу?

Я сидел на переднем сиденье с правой стороны от водителя. И ребята подначивали меня – к действию.

– Ну, давай же, спроси у нее.

Я открыл окно и крикнул первой попавшейся тетке:

– Вы работаете?

Тетка повернулась, и оказалось, что это училка химии, классная из параллельного класса. Она вначале не поняла, о чем ее спрашивают, а потом покраснела и в мою сторону понеслись матерные ругательства и проклятия.

И от всех этих воспоминаний мне почему-то стало не по себе.

– Пойдем со мной! – предложил я девушке. – Я тебя спасу!

– Как?

– Подкину деньжат, и тебе не придется совмещать работу с учебой.

– А не боишься моего парня, считай, мужа?

– А кто у нас будущий муж? – хотел было побравировать я.

– Крутой бандит, он сейчас там, – указала она глазами то ли на ресторан сверху, то ли на столики ярусом выше, за которыми уединившаяся компания играла в карты.

– Предупреждать надо было.

**5**

Больше мы ни о чем не разговаривали. Нам не о чем было разговаривать. Мелодия закончился, девушка смешалась с толпой и исчезла. А я еще долго не мог забыть шелк ее платья и бархат ее кожи, вздернутый по-детски носик, выразительные скулы, волнистые волосы и большие печальные глаза… Кажется, я еще долго сидел в каком-то оцепенении загипнотизированый этими глазами и очарованием М. А может быть, пораженный, пригвожденный к месту страхом перед ее «крутым бандитом».

Вот они, превратности судьбы и мое падение. Сейчас я бы очень хотел, чтобы она была стриптизершей-проституткой, чем чужой женой. Пусть она лучше будет проституткой, чем навсегда исчезнет из моей жизни. И тогда каждую субботу я смогу сюда приходить и перекидываться с ней несколькими фразами. А если у меня будут деньги, даже заказать ей приватный танец в кабинке.

Я представил, как я ее спасу, выведя за руку из этого притона. Не сейчас, позже, когда разберусь, что к чему. Черт! Кого я обманываю? Мне просто хотелось переспать с ней!

Минуту назад я не сомневался, что запомнил ее лицо и что легко узнаю в толпе, среди сотен других. Одни лучезарные глаза с морщинками и высокие скулы чего стоят! Но сейчас я больше помнил ее тело и запах, а лицо будто уплывало, скрывалось от меня в тумане опьянения. Я ее забывал, терял...

Нет, конечно, уже через четверть часа я попытался ее найти и взять телефон, несколько раз обошел все заведение, не исключая мужские туалеты. И даже попробовал пробиться наверх в кафе, где игралась свадьба, но все тот же охранник остановил меня железной рукой. Я пытался сказать, что невеста моя хорошая знакомая, но было уже поздно, ибо свадьба закончилась.

– А где они? – продолжал настаивать я.

– Кто?

– Ну, невеста, жених, гости.

– Уехали на первую брачную ночь, прикинь.

– А куда? По какому адресу?

– Мне не сообщили, прикинь!

Охранник не знал. А я после одного разговора не имел права преследовать чужую невесту. Вторгаться и разрушать чужую жизнь. Даже пьяный я это понимал.

**6**

Много позже, думая о загадочной девушке М, я никак не мог решить для себя, что бы я предпочел. Какое из двух зол я бы выбрал. Кто, – вопрошал я в минуты отчаянья, – кто чище, проститутка Мими или сбежавшая со свадьбы невеста бандита? На кого можно положиться в тяжелую минуту?

Первые мгновения нашего знакомства, вселили в меня недоверие. Недоверие к М как к моей будущей невесте и жене и Матери наших будущих детей.

Потом между нами лежало нечто пугающее, смутное, трудноопределимое. Это была та история из прошлого, которое расплывалось на смутные пятна для меня. Того мутного прошлого, которое она прожила, которое было с ней и останется до самой смерти. И мне никогда уже его не выкорчевать, не выжечь каленым железом.

Это неверие в женщину было чрезвычайно разрушительным. Между мной и М, будто сразу, с первой минуты нашего знакомства, пролегла пропасть, темная расщелина прошлого, которая незаметно перерастала в провал будущего.

Она стояла между нами, та история в баре «Трибунал». И, хотя Мелисса позже так и не призналась мне в проституции, в работе в эскорте и танцах гоу-гоу, в глубине души я ей не верил.

Для любого мужчины самый большой страх – страх измены, страх предательства. А самая большая жертва – отказаться от своей внутренней свободы. Сам я не готов был на большие жертвы. Тем более не собирался на ней жениться.

Я рассуждал, что если она может предать влюбившегося в нее человека, мужчину, который согласился отказаться ради нее от самого дорогого, своей свободы, – то что же будет со всеми остальными? Я думал, если она подрабатывала проституцией, то что ей стоит переспать с другим. Что ей стоит переспать с кем-нибудь, чтобы получить желаемого. Да чтобы просто понравиться или завоевать чью-то симпатию. Если она позволяла трогать себя в приват-кабинке, то, значит, порог доступа к ее телу низок. Только заплати немного денег и вперед…

**7**

Но эти мысли, что терзали, рвали меня на куски, были прежде, до того, как Мелисса ушла. А теперь, после того как она бросила меня, стоит ночи пролить свой звездно-лунный свет, как я порой вскакиваю и бегу искать её в поглотившей бездне, в расщелине темноты. Я, наверное, действую как лунатик, потому что сам не знаю, зачем и куда двигаюсь. Я просто брожу по городу.

Порой, когда девочка-зазывала протягивает мне рекламу очередного стриптиз-клуба, например, «Бессонница» или «Луняшка», я тут же иду по указанному адресу, держа в уме, что когда-то первый раз увидел Мелиссу в подобном заведении. Я спускаюсь за ней в неведомые подвалы, затаив дыхание, как Орфей спускался к Эвридике.

Там я сижу за столиком и вглядываюсь в полуобнаженные тела девиц, пытаясь уловить хоть часть ее тела в других телах, хоть часть ее лица в других лицах. Я всматриваюсь в бесконечных «красных шапочек», «белоснежек», «ведьм», «гномиков», «троллей», «Снежных королев» и еще черт знает кого.

Я не танцую, я просто смотрю на танцующих у пилона, у этой оси-указки моего теперешнего мира, учительниц, медсестёр, девочек-нимфоманок в школьной форме. Иногда я засовываю деньги им в трусы, чтобы сравнить их кожу с бархатной кожей Мелиссы, температуру их ледяных тел с ее теплом. С таким же успехом я мог бы гоняться за призраками в подворотнях. Впрочем, иногда я пытаюсь поймать не мельтешение лиц, а лунные блики, зайчики цветомузыки, гуляющие по полу и столику.

Я думаю, что Мелисса тоже была школьницей в фартуке и даже успела какое-то время, на практике поработать учительницей в школе. А как она заботилась обо мне, как лечила, когда я заболел! А как обжигала меня холодом, как язвила, когда хотела задеть.

**Балерун кордебалета**

**1**

В следующий раз – по-другому и быть не могло – мы встретились совершенно случайно. Толкаемые, движимые навстречу весенними потоками, под козырьком туч, у частокола дождя. Я пристроился в одной подворотне, чтобы, как бы это помягче сказать, сбить пыль с фундамента очередного шедевра архитектуры, и тут какая-то сила, сияние небес, когда все вокруг на секунду проясняется, и металлические крыши, и плафоновые фонари озаряются солнцем, заставила меня поднять голову, и я увидел проезжающий мимо сверкающий параллелепипед троллейбуса, слиток червонного золота, будто он и не троллейбус вовсе,
а фараонова ладья или колесница с золотыми поводьями. И там, за стеклами ладьи Осириса, девушка, которая, приплюснув лоб к стеклу, с жалостью смотрела на меня.

Я сразу узнал это лицо с высокими скулами и эти глаза – лицо из сна. Хотя, возможно, она смотрела и мимо меня – на камни. Не на разрушающегося человека, а на разрушающийся город. Неважно, главное, что этот взгляд, от которого таяли айсберги и высыхало мокрое солнце, я не мог перепутать ни с каким другим.

Наспех застегнув ширинку, я побежал. Мы двигались какое-то время параллельно с крутящим колеса параллелепипедом, и периодически то я смотрел на девушку, то она на меня. Троллейбус придерживали и заторы, и светофоры своими красными флажками. Меня придерживал стыд от того, что девушка видела, как я отливаю прямо на мостовую, а может, по моим конвульсивным движениям, по довольному лицу она бог знает, что вообразила в своем чистом сознании. Может быть, даже решила, что я дрочу в этой подворотне? Что я вуайерист, который подглядывает за тем, как сношаются собаки, и получает от этого удовольствие?

Черт знает, что она могла подумать. Во мне боролись стыд и страх вновь упустить ее. Настоящая внутренняя драма. Троллейбус ускорился, и мне нужно было успеть заскочить внутрь на следующей остановке.

Наверное, со стороны это выглядело комично. Еще минуту назад мочившийся человек бежит за троллейбусом, перепрыгивая ручьи и лужи, как клоун в больших ботинках. он вскакивает на подножку, садится напротив девушки, которая видела его только со спины и в профиль, а сейчас он показывает себя целиком, анфас, и не скрывает красного с перепоя носа и выразительные синяки под глазами.

**2**

Но самое ужасное меня ожидало впереди. Когда я, заскочив в троллейбус, плюхнулся напротив своей избранницы, когда я отдышался, пришел в себя и уже собирался произнести фразу, придуманную на бегу, – что-то типа «я знал, что обязательно встречу тебя еще раз в этом городе», – когда я только открыл рот, то понял: моя спутница не одна.

С ней рядом сидел здоровый мужик, лысый, с накачанными бицепсами, в татуировках, у которого на блестящем и влажном лбу было написано: «Я ждал тебя, урод. Я знал, что найдется наглец, который покусится на мое сокровище. Но я раздавлю всякого, кто только посмеет взглянуть на мою красавицу с вожделением!»

 И девушка, та, что сводила меня с ума одним взглядом, вдруг взяла этого парня под руку и, закрыв глаза, склонила голову к нему на плечо. Как сказал один поэт: «Повернись ко мне в профиль. В профиль черты лица обыкновенно отчетливее, устойчивее овала с его... свойствами колеса...»

А еще я понял, что М, я ещё не знал её имени, интуитивно от меня защищается. От моих еще несказанных слов и от моих неказистых манер. А может, от моего алчущего взгляда и моего навязчивого преследования.

Да, она ищет защиты у своего мужчины. Может быть, это даже не ее муж, и не ее брат, а ее сутенер. Но если сутенер, то это еще унизительнее для меня; если сутенер, то вполне приличный и симпатичный, в костюме, в дорогой обуви. С таким хоть на край света. А напротив я – грязные руки, растрепанные волосы, разъехавшаяся молния ширинки, это я заметил только сейчас, опустив взгляд, мокрые джинсы...

Увидев меня в неприглядном и растерянном виде, она к тому же наверняка вспомнила, что это я минуту назад мочился на дом, в котором проходил первый бал Наташи Ростовой, или «Маскарад» Лермонтова, или еще какой-нибудь дом из высокой культуры и литературы, с подсвечниками, лепниной на потолках и натертым до блеска паркетным полом, на который ступать-то без бахил страшно, а тут…

Это было унижение, какого я давно не испытывал. Меня постигло сильное разочарование.

И тогда я отвернулся. Да, я отвернулся – лучшего слова не подыскать. И стал смотреть на прекрасный город, который, сев на корточки и задрав подол, из всех прорех и щелей, поливало огромное серое небо.

**3**

Я спохватился, только когда они вышли на остановке, а троллейбус поехал дальше. Но, к счастью, напротив Думы над головой пассажиров раздался треск, водитель открыл переднюю дверь и отправился прилаживать на место съехавшие с проводов пантографы.

Да, она, может быть, уже сегодня наставит нам рога, дружище! – воспользовавшись заминкой я в ужасе выскочил на улицу и поспешил за ними по Итальянской, к площади Искусств. Потому что развития событий с рогами допустить было нельзя...

Но вот она, милая площадь, похожая на сицилийскую или неаполитанскую, с ее неизменными пиццерией и тратторией. Я уже говорил, что в основе этого города – лежит много городов. В основе Итальянской улицы лежит Рим, а в основе Большой Конюшенной – Париж, канал Грибоедова – Венеция, а набережная Невы, если смотреть со стороны реки, – Лондон. И дождь своим шлейфом смахивает картинки одного города, чтобы тут же нарисовать картинки другого. Это такой фильмограф, в котором будто невидимая рука тасует кадры, стоит только поменять угол зрения.

Мелисса была в прекрасном, светло-сером, как мне показалось тогда, почти белом плаще-макинтоше с поясом и в синем берете. Она была как Ева Грин из фильма «Мечтатели». В таком берете-прикиде, должно быть, посещают Гранд-опера в Париже или Ла Скала в Милане. Но преследуемая мной пара, так вырядившись, шла все же не в Ла Скала, а в Михайловский театр, рядом с которым кабак «Бродячая собака», в котором век назад пел Вертинский, читал стихи Маяковский, плясала Плисецкая.

Да мало ли кто там пел и читал и танцевал на костях уже умерших поэтов в предчувствии музыки, еще не родившейся! Мало ли кто веселился в этом здании. Главное было то, что происходило на улице здесь и сейчас, – в тот самый момент, когда я вдруг почувствовал себя взявшей след бродячей беспородной собакой. Собакой, семенящей, понурив голову и хвост, за плывущим по другому берегу улицы лебедем. Не охотничьей, не бойцовой, а именно бродячей, которая не может подойти близко из страха быть побитой грозным спутником Мелиссы, но которая в то же время не теряет надежды на случайную подачку-ласку.

Как вскоре выяснилось, Мелисса и ее спутник спешили на оригинальную постановку «Лебединого озера». Не знаю, насколько она там оригинальная. Летом, чтобы заманить туристов, всегда пишут «оригинальное», а подсовывают самое традиционное, чтобы мещанин с длинным
рублем не был разочарован. Чтобы он знал, что посмотрел что-то оригинальное, даже купив билет на железобетонную классику.

Я не мещанин, я бы радостью пошел на балет Эйфмана по «Братьям Карамазовым», но я не мог еще раз упустить Мелиссу. Понимая, что большего шанса мне небеса могут не предоставить, я насобирал по карманам денег на билет у перекупщиков. Так сказать, контрамарку на традиционную галерку на оригинальную постановку «Лебединого озера», которая стоила, должно быть, дороже билета в ложу на «Братьев Карамазовых», если брать в кассе.

На галерку мне пришлось продираться сквозь заслоны из швейцаров в красных ливреях и женщин в черных костюмах, которые в своей униформе походили на личных референтов-телохранителей. Они делали все, чтобы отгородить меня от тела Мелиссы, отгоняя все дальше и дальше от партера и вип-лож, туда, на седьмой круг лестничного пролета. На галеру галерки, на которой сидят, скрутив спины, нищие гребцы.

**4**

В итоге мне удалось занять полагающееся мне место только к моменту, когда принц Зигфрид отправляется на охоту и встречает там королеву лебедей Одетту. А потом, все вы это прекрасно знаете, злой волшебник Ротбарт и его дочь Одиллия изо всех сил стараются погубить любовь принца к Одетте. И вот в эту самую минуту, когда на подмостках владетельная королева устроила настоящий бал с выбором невесты для сына и гости плясали разные «кадрили»: русский танец, затем неаполитанский танец, затем испанский, клянусь, я сам был готов вскочить с места и принять участие в этом славном мультикультурном пати, выступить в качестве соискателя на руку какой-нибудь красотки, да и все зрители, думаю, с радостью стали бы активными участниками бала.

Однако, зачарованные зрелищем, они пока не решались. Такие изящ-
ные в своих вечерних нарядах и чопорных пиджаках и фраках, они были прикованы к креслам вплоть до антракта.

Занавес опустился, зажгли свет, и я начал искать глазами Мелиссу, но не нашел ее в этом карнавале-мельтешении. К тому же, я забыл взять программку и бинокль. Или – монокль, живи мы во времена Тулуз-Лотрека, этого обожателя водевилей и балета.

Среди этих, наслаждающихся вечером и представлением, сытых, холеных, одетых во фраки и бабочки, буржуа я вдруг почувствовал себя изгоем на этом празднике жизни, злым волшебником, что своим тряпьем и своими дурными манерами хочет разрушить счастье и любовь одной юной прекрасной четы. И в то же время, в своих простых джинсах и клетчатой рубашке навыпуск, я чувствовал себя яванским колдуном. Я вдруг отчетливо увидел свою роль в этом лицедействе.

Во второй части представления я стал придумывать постмодернистский балет. Я всегда что-нибудь сочиняю, когда смотрю или читаю чужое. И вот я придумал действительно оригинальное постмодернистское либретто, по которому яванский держатель петуха приезжает со своим бойцом в крупный европейский город. В какой-нибудь Лондон с его музеем Альберт-Виктории и Альберт-холлом.

Он важно расхаживает со своим бойцовым петухом везде, гуляет по городу, от Трафальгарской площади до квартала Челси. Он бывает на знатных раундах и высокосветских приемах и везде выглядит этаким модным метросексуалом, у которого вместо маленького кудрявого пуделька под мышкой задиристый боевой петух с хохолком и гигантскими шпорами.

И вот судьба случайно закидывает нашего героя на балет «Лебединое озеро» в Альберт-холле. И там на сцене он видит злого волшебника, злого колдуна, шамана в перьях, который то и дело выскакивает на сцену и что-то там себе колдует, зачем-то размахивает своими черными огромными крылами.

Для всех непосвященных действия Ротбарта – сказка, архаика, антропология, они не видят никакого смысла в колдовских обрядах, но для нашего героя, знающего о магии не понаслышке, – это не сказка, а трагическая реальность. В прошлом году колдун из соседней деревни так же заколдовал его невесту, без пяти минут жену. Заколдовал из зависти и по навету, отчего его невеста быстро слегла и умерла.

**5**

Вот она – ирония судьбы. Наш яванец наконец находит своему петуху достойного соперника. Соперника, которому он перед всем своим племенем поклялся отомстить. Соперник, который погубил его невесту и теперь хочет заколдовать Одетту.

Недолго думая, герой вскакивает со своего места в ложе и, легко перемахнув-перепрыгнув через несколько голов, спрыгивает в партер, со своим яванским петухом.

В Альберт-холле зал устроен как в цирке, сцена там круглая, словно яйцо в поперечном разрезе. Точь-в-точь как ринг для петушиных боев в их родной деревне.

Наш герой весь такой характерный для Явы: худощавый, мускулистый, загорелый, с короткой стрижкой – ни дать ни взять танцовщик кордебалета. По пути он срывает с себя рубаху, повязывает на пояс, и теперь, с голым торсом и в потрепанных штанах, он решительно выскакивает на сцену и кидает, как перчатку, плевок в лицо колдуна. Так принято у них на Яве – харкнуть своему противнику в рожу харчей посмачнее.

А между прочим, колдун, кому в рожу прилетел плевок, не просто какой-нибудь заштатный злодей-волшебник, он суперприма «Нью-Йорк Опера», он танцовщик-миллионер, всемирно известная знаменитость, и каждое его па на сцене стоит поистине сумасшедших денег.

Но сейчас он пребывает в шоке, он не понимает, что происходит.
И тут спрыгнувший с рук прямо на колдуна петух вызывает это черное чудо в перьях на бой. А колдун вопит своему импресарио, требует дать ему скорее программку, что сверить с условиями контракта.

 Зрители Альберт-холла – дамы в норковых манто и вечерних платьях и мужчины в дорогих костюмах, короче, вся эта перхоть города и мира – воспринимают яванского бойца тоже за артиста малых и больших. Все оживляются, все в нетерпении от грядущей развязки от яркого зрелища. Они не видят никакого подвоха и аплодируют неожиданному повороту, модерновой трактовке модного современного режиссера. Вот она, наконец, началась – оригинальная постановка традиционного классического балета!

 А тем временем яванский петух, выпустив шпоры, распушив крылья и хвост, нападает на Ротбарта. Чтобы защитить Одетту, – думают заинтригованные зрители. И, в принципе, они недалеки от истины.
А колдун-коршун, завидя решительно настроенного петуха, встает на колени и начинает молить о пощаде, то разводя крылья в стороны, то сжимая их на груди.

Но яванец и его петух воспринимают примирительно-просительные жесты коршуна как боевую стойку. Петух с гигантскими шпорами настроен дать бой не на жизнь, а на смерть, побиться за всех курочек-балерин в перьевых пачках. Он налетает на Ротбарта и начинает его клевать и насиловать в прямом смысле слова. Трахать-клевать-трахать-клевать-трахать-клевать! Коршун в панике убегает прочь, пытаясь спастись сам и спасти свою честь за кулисами. Запутавшись в портьере, он падает, руша часть декорации в оркестровую яму на голову флейтистам. Ныряет в этот журчащий музыкальный овраг, как в сточную канаву на окраине деревни, как какая-нибудь пьянь и рвань подзаборная.

Есть! Есть победа за явным преимуществом, но праздник петушиных боев так просто не заканчивается. Черта с два! Петух не отступает! На кону вся его репутация, на кону честь семьи и всей Индонезии. Ставки слишком высоки! Как он потом вернется в свою родную деревню и расскажет, что проиграл единственный в истории международный бой?

Дирижёр, эффектно размахивавший палочкой и рукой, словно это крылья, а лацканы фрака – хвост, тоже попадает под раздачу петуху. Первая скрипка в ужасе падает в обморок, контрабасист басит, альтист летит, оркестр начинает играть вразнобой, а рабочие сцены и музыканты выбегают, чтобы прогнать яванского деревенщину восвояси на Яву.

– Пошел вон, мудак! – кричат все и гоняются за ним по сцене, размахивая швабрами и смычками от скрипок и виолончелей. Однако прогнать яванского мудака не так-то просто. Поднаторевший в тайском боксе, закаленный в кулачных боях на окраине мира, он так ловко и изящно размахивал ногами и руками, что затмевал всех прима-балерунов. Блистательными великолепными па, они же сочные удары в челюсть и нос, он сокрушает одного своего противника за другим. Затем хватает за ноги черную Одетту и белую Одилию и под шумок и хаос тащит их со сцены. Две жены лучше одной, две курочки – лучшая награда победителю.

– Мне же больно, мужлан! – визжит Одетта.

– А мне, думаете, не больно на все это смотреть? – парирует деревенщина. – Разделили весь мир на черных и белых и радуетесь!

**6**

А еще я думал про черное и белое в нас. Черный лебедь и белый лебедь. Белая – символ чистоты – невеста. И черный цвет, черная кожа и перья – символ грязи и саморазрушения, символ мазохизма и садизма.

Как странно, что второй раз я сталкиваюсь с Мелиссой на фоне свадебного представления! Что это? Фарс, трагикомедия, драма? Вышла ли она все же замуж, примирившись с женихом? Или этот ее спутник –
сутенер? А может, я всего лишь перепутал двух девушек и та девушка в клубе и нынешняя в театре похожи, как Одиллия и Одетта?